

В доме Вольфа

В каждой семье существует своя легенда. Была такая и в нашей семье. Она часто рассказывалась по тому или иному поводу — иногда со знаком плюс, иногда со знаком минус — в зависимости от настроения рассказчика и обстоятельств беседы. И хотя история, которую она описывала, происходила за четверть века до моего рождения, мне казалось, что я принимала участие в событиях, о которых она повествовала.

Так вот, легенда гласила, что мои будущие родители: мать — ученица последнего класса гимназии, в зеленом форменном платье и черной шляпе с зеленым бантом, и отец в мундире учащегося коммерческого училища, стояли на углу улиц Успенской и Кузнечной и рассматривали воздвигнутый года четыре тому назад на этом углу огромный доходный дом, который носил название дом Вольфа. Были в Одессе и другие примечательные дома, что носили имена своих владельцев, — дом Папудова, дом Вагнера, баня Исаковича. Теперь появился и дом Вольфа. Мои родители, конечно, видели его и раньше, но порознь, а сейчас они переживали обязательный для влюбленных период познания, открытия мира вдвоем.

Как видно, для молодой пары все в этом доме было слишком пышным и претенциозным. И они, обитатели бедных одесских кварталов, — мать жила в заводском районе, в одном из переулков, что отходят от Водопроводной улицы, а отец — на улице Раскидайловской, рядом со Староконным рынком, — со всем максимализмом юности единодушно решили, что если бы им пришлось выбирать себе квартиру, то они в этом доме ни в коем случае не поселились бы.

Отец в том же году поступил в Киевский политехнический институт, мать — в Одессе на высшие медицинские курсы. Роман развивался неторопливо; встречались урывками, в каникулы. А тут началась и война, которую позже назовут первой мировой. А к тому же и противодействие родителей с обеих сторон: одни не могли представить, что сын может жениться на девушке с непонятной национальностью — караимка, и иудейским вероисповеданием, хотя мать была убежденной атеисткой, другие же не допускали и мысли о том, что дочь нарушит вековые традиции и выйдет замуж не "за своего", так как караимы в те времена создавали семью лишь в рамках своей национальности.

Но тут одна бойня сменилась другой, еще более жестокой, — гражданской войной, и традиционные табу до некоторой степени утратили свою

силу. Мои будущие родители воспользовались моментом и вступили в брак, расписавшись в каком-то учреждении, созданном революцией. У меня до сих пор хранится их так называемое брачное свидетельство — ветхий листок из тетради в клеточку, где написано, что они создали семью — "новую ячейку нового общества". За пятьдесят два года, что мои родители прожили вместе, они не удосужились сменить ее на какой-нибудь более солидный документ — корочку с гербами. Была в этом, вероятно, и гордость людей, которые одними из первых решились на этот нестандартный шаг, и пренебрежение общепринятыми условностями.

А жить-то было негде. Новая власть принесла не только жестокость и нетерпимость, но и какие-то новые законы и правила, разумность и рациональность которых были весьма сомнительны. Исчезла веками освященная практика свободного съема квартиры — в соответствии со своими финансовыми возможностями и амбициями. Квартиры теперь "давали, выделяли, распределяли" — появился в связи с этим даже новый, ранее отсутствовавший терминологический ряд. А время примитивно-непритязательного решения этого вопроса — свалиться в квартиру своих родителей — еще не пришло. Это позднее в одной квартире скапливалось три поколения одной семьи, а если были уж очень плодovitы, то иногда и четыре. Родителей приютила родственница матери, Стефания Марковна, столь отдаленная, что степень родства им так и не удалось выяснить. Она была старой девой, которой в свое время тоже помешали выйти замуж, и таким образом с опозданием на несколько десятков лет она выражала свой протест, противопоставив свою помощь молодой паре общесемейному осуждению.

А пока мои родители ждали, когда до них дойдет квартирная очередь, дом Вольфа жил своей жизнью. Сначала опустели его огромные квартиры: кто эмигрировал — думали, на время, оказалось, навсегда, кого выселила революционная власть как недостойных жить в приличных условиях. И три этажа опустели. Лишь на первом этаже, в основном, со стороны двора, кипела новая жизнь, — он был густо заселен прислугой бывших жильцов дома. Когда эта новая жизнь шумным потоком веселья, брани, драк и праздников выплескивалась наружу, на сцену выступал дворник Викентий, живший при доме со дня его постройки, и привычно покрикивал на разгулявшуюся публику.

Но такое роскошное здание не могло долго пустовать: в нем обосновалось управление Юго-Западной железной дороги, картографическое и топографическое общество и пробирная палата. По мраморным лестницам

забегал советский чиновный люд с потертыми портфелями и папками с тесемками. Бывший владелец дома Вольф, который тоже отправил свою семью за границу — переждать, а сам не мог оставить дом без присмотра, был переселен в какую-то одну комнату на третьем этаже. Так как вода почему-то с приходом новой власти перестала поступать на верхние этажи, хотя Днестр, откуда одесский водопровод черпал воду, все так же тек в сторону Черного моря, Вольф однажды спустился вниз к дворум крану, набрал ведро воды, поднялся на третий этаж и, никого не обеспокоив, упал и умер у ведра с водой, где его вечером и нашел Викентий, который по старой памяти заходил к Вольфу поговорить о доме и обо всем в нем происходящем, в глубине души по-прежнему считая его хозяином дома, а не какое-то там домоуправление.

Наступил день, когда управление железной дороги обрело свое здание, и освободившиеся помещения решено было отдать под квартиры работникам железнодорожного ведомства, к которому мои родители в то время имели непосредственное отношение, — мать работала в ведомственной железнодорожной больнице, а отец — на заводе имени Январского восстания, который тогда считался вагоностроительным. Квартира не была собственно квартирой, а как говорили, шли они в подселение. В этой квартире уже проживал со своей семьей профессор Афанасьев, который заведовал в той же железнодорожной больнице, где работала мать, терапевтическим отделением. Но выбирать было не из чего. И только придя по указанному адресу, родители сообразили, о каком доме идет речь, и вспомнили свою юную категоричность.

Парадный вход все так же охраняли суровые кариатиды, а огромная лестница поражала — тридцать пять невысоких ступеней вели на второй этаж, делая подъем совсем не затруднительным. Входные двери в квартиры, расположенные на одной площадке, были разнесены на расстояние примерно двенадцати метров друг от друга. Стены лестничной клетки были расписаны под розовый мрамор и украшены медальонами, в которых располагались букеты лилий. Такие же букеты лилий, но только металлические, служили опорами полированным перилам. Впечатление праздничного великолепия дополняли цветные блики, скользящие по стенам, — часть крыши над лестницей, так называемый фонарь, была из цветных стекол, составленных в виде причудливого геометрического узора.

В огромном холле, куда выходило множество дверей, их встретила немолодая женщина в темно-синем шелковом платье и туфлях на высоких каблуках.

— Это вы будете нашими соседями? Какие же вы прелестные дети! — воскликнула она. — Меня зовут Елена Васильевна... А вот дверь в ваши комнаты.

Родители представились, пребывая в легком ошеломлении, так как по своему возрасту никак уже не подходили под категорию детей. Когда отец взялся за ручку теперь уже "своей" двери, Елена Васильевна неожиданно с некоторой робостью в голосе спросила:

— А вы... не большевик, — и, помедлив, добавила: — надеюсь?

Изумленный отец спросил:

— Вы интересуетесь, являюсь ли я членом партии? Нет...

— Ну и чудесно, — облегченно-радостно сказала Елена Васильевна, — а то я опасалась... — не окончила она свою мысль.

Как говорила мать, это был единственный раз за все их годы, прожитые вместе, когда их соседка заговорила о том, что лежало снаружи, по другую сторону дверей.

И началась их несколько фантазмагорическая и поначалу даже слегка непонятная жизнь. Прежде всего, они не могли понять, почему им выпала такая удача, ведь заслуг перед советской властью у них явно не было. Три огромные комнаты — половина квартиры бывшего владельца дома Вольфа — с лепными падугами и розетками под люстры, с высокими, под потолок, голландскими печами, украшенными по верху изразцами, неожиданно оказались в их распоряжении. По существовавшей тогда практике, в такую квартиру могли вселить три, а то и четыре семьи. А жили всего пять человек — родители, супруги Афанасьевы и сын Елены Васильевны от первого брака студент медицинского института Иван Попов. Но постепенно они уяснили для себя сложившуюся ситуацию — они в этой квартире появились не просто так, а как видно, по просьбе соседа, просившего подселить к нему молодую интеллигентную пару.

Александр Дмитриевич был врачом с глубокими знаниями, бесценным опытом и тончайшей безошибочной интуицией, которые восхищали мою мать, работавшую в его отделении. Еще совсем молодым человеком он обретал свой первый опыт врача в русско-японскую войну, годы практики в Киеве, а потом и первая мировая — в экстремальных условиях приобретались неординарные знания и поразительное понимание человеческой психологии. Носители новой власти и морали, проповедуя аскетизм и самоотречение, все же не забывали о себе — создали доктору Афанасьеву все условия, чтобы он мог в комфортных условиях работать, а они имели возможность в случае необходимости прибегнуть к его помощи. Были годы

нэпа, частная врачебная практика была разрешена. Но забегая вперед, хочу сказать, что так же, как и в двадцатые годы, доктор Афанасьев вел частный прием и в тридцатые, и в сороковые, вплоть до своей смерти. Никогда не велись разговоры о том, платил ли он налоги, как это все было оформлено официально, — интересоваться этими сторонами жизни в рамках нашей квартиры было не принято.

Первой прибежала посмотреть, как устроились родители, Стефания, которая так привыкла к ним за несколько лет, что уже не представляла своей жизни без них. Она оглядела большие комнаты, которые из-за царящей в них пустоты казались еще больше, и решительно сказала, что к ним переедет ее гарнитур из гостиной, люстры, и еще стала она перечислять какие-то предметы... Отец решительно воспротивился:

— Стефания Марковна, нет, это невозможно, мы не можем у вас что-либо брать, разве что купить... со временем...

Глядя на Стешино вмиг поблекшее лицо, мать обняла ее и сказала:

— Конечно, тетя Стеша, с благодарностью возьмем, — а после ухода Стефании, отменяя возражения отца, сказала: — Ты ничего не понял и почти обидел ее. Неужели не видишь, что она, отдавая нам вещи, хочет продлить их жизнь, — ведь в них в какой-то мере ее прошлое, это вещи еще ее родителей, а может быть, они даже из более ранних времен в их семье. Она же хочет таким образом продлить и свою жизнь или хотя бы память о ней.

И сегодня здесь, в Германии, у меня в спальне висит Стешино зеркало, как принято было считать в нашей семье, венецианское, в пышной раме — оно пошло уже от времени кое-где темными полосами, — ведь ему уже много больше ста лет, но оно — одна из тех тонких-тонких ниточек, что связывает меня с прошлым.

Потекли годы, а с ними и жизнь. Приходилось жить отчасти и чужой жизнью, в то же время делясь и своей. Сначала многое удивляло: соседи обращались друг к другу по имени-отчеству и на "вы". У них в гостиной висела огромная, непомерно увеличенная фотография, на которой были запечатлены четыре мальчика в матросках, сидящие в грубо намалеванной на полотне лодке. Оказалось, что все они были сыновьями Елены Васильевны. Она никогда не рассказывала, где и что случилось с тремя старшими, Иван, живущий с ней и Александром Дмитриевичем, был младшим. Изредка поглядывая на фотографию, она говорила легко и как будто даже радостно:

— Я уверена: все хорошо, они такие хорошие ребята, с ними ничего не могло случиться плохого.

Что это было? Наивность, доходящая до глупости, или самообман? Слепая вера в счастливую судьбу? Или спрятанная на самом дне души боль, безмерное отчаяние и маска удачливой женщины на каждый день?

С утра Елена Васильевна была одета в платье, никакие халаты и пеньюары не считались приличной одеждой, туфли на каблуках, прическа — это неизменно была завивка — в порядке, равно как и маникюр. Единственной ее заботой утром было налить своими руками Александру Дмитриевичу чай либо кофе, который из кухни приносила домработница. Затем в половине девятого к дому подъезжали дрожки, и Александр Дмитриевич отправлялся в больницу.

Елена Васильевна, полностью одетая и приведенная в порядок, оставалась в кресле. В кухню она избегала заходить: домработница приходила в комнаты и получала указания на весь день — что купить, что сварить, и вообще, что делать. Правда, Елена Васильевна была неизменно вежлива, добра, никакого высокомерия и приказного тона. Прислуга ее любила и держалась в доме годами. Выходить из дому она тоже не любила, ни магазины, ни походы в гости ее не увлекали, приятельниц у нее не было, даже парикмахер и маникюрша приходили домой. Дом она покидала только с Александром Дмитриевичем. И тогда это был "Выход" с большой буквы: в зависимости от цели его, надевалось вечернее платье или английский костюм, к ним прилагались меха, шляпка, перчатки. Летом — шелковые платья, но шляпка и перчатки присутствовали обязательно. Каждый день с утра прибегала живущая в нашем доме Анна Павловна, умная, с острыми, все замечающими глазами, вкрадчивыми манерами и несколько суетливыми движениями. Женщина, идеально подходящая на роль наперницы и компаньонки, каковой она и была. И между Еленой Васильевной и ней начинался разговор, явно интересный им обоим: это были новости-сплетни о населяющих наш дом людях — в подавляющем своем большинстве они были людьми непростыми — врачи, инженеры, научные работники. А еще со страстью обсуждали они жизнь находившегося в соседнем квартале Успенского собора — его священников и постоянных прихожан. Анна Павловна обладала уникальной проникающей способностью все разузнать, сопоставить и сделать почти всегда правильные выводы. А затем она исполняла бездну мелких поручений — покупала газеты и журналы, оплачивала счета, забегала к машинистке, в домоуправление и на почту, то есть делала все то, от чего себя ограждала Елена Васильевна.

Но главное действие в нашей квартире начиналось в четыре часа дня, когда Александр Дмитриевич начинал прием больных. Главным распоря-

дителем этого действия был Людвиг Леопольдович, слегка сутулый старичок, не без гордости иногда напоминавший о своем французском происхождении, возводя его к некоему наполеоновскому солдату, которого настигла в России роковая любовь. Людвиг записывал больных на прием, для чего у него была большая тетрадь, на каждый день — таково было распоряжение Александра Дмитриевича — он мог записать только восемь человек: отводилось по полчаса на каждого. Иногда больные ждали приема по несколько недель. Просьбы и даже попытки заплатить за возможность попасть на прием к доктору в обход очереди Людвиг с негодованием отвергал.

Какие разные персонажи проходили через холл нашей квартиры, который после четырех часов становился приемной! На стульях, обитых зеленым с золотистым отливом бархатом, сидели и те, кто ожидал со страхом и надеждой помощи знаменитого врача, и те фаталисты, что уже отчаялись найти эту помощь, лишь выполняли слово, данное близким, и те, кто готов был встретить свой диагноз с недоверием, даже агрессией, и бороться с неизбежностью. Наконец, отдельную категорию составляли капризные достаточно обеспеченные дамочки, которые не могли отказать себе в удовольствии побывать у модного врача.

У Александра Дмитриевича была чудесная располагающая к себе внешность: слегка полноватый, красивое открытое лицо с правильными чертами, пронзительные и внимательные глаза, умение выслушать собеседника и в то же время уже анализировать его состояние. Прекрасный диагност, он в самом деле умел многим вовремя помочь, но самое главное, он считал, что должен всегда найти такие слова, услышав которые, любой больной уходил бы от него с чувством облегчения и надеждой на выздоровление.

Популярность Александра Дмитриевича была столь велика, что это однажды привело к необычному и несколько комичному происшествию. Дело в том, что напротив нашего дома, на противоположной стороне улицы, тоже в угловом доме, в дореволюционное время размещался трактир. Позже в смутные времена в нем, говорили, располагалась банда Мишки Япончика. Но как бы то ни было, этот дом и сквозной двор с выходами на три улицы были местом опасным: всем было известно, что некоторые его квартиры были превращены в воровские малины, картежные притоны и комнаты для свиданий на час. И вот однажды к Александру Дмитриевичу явился посланник из этого дома, явно криминального вида, но тогда это слово было еще не в ходу, говорили проще — приклатненного, и попросил его посетить больного. Александр Дмитриевич, несколько избалованный избранной публикой, посещавшей его, с возмущением воскликнул:

— И не думайте, что я пойду в ваш притон. Вызывайте врача из поликлиники.

На что посланник, несколько не смутившись, заметил:

— Совсем не по-соседски, доктор. Когда от вас в два часа ночи после преферанса уходит профессор Кобозев, его же никто не трогает, я бы сказал, даже охраняют, а шуба на нем ой какая хорошая. А мы вам так доверяем...

Александр Дмитриевич рассмеялся и закричал:

— Людвиг Леопольдович, подайте, пожалуйста, пальто!

Но в последнюю минуту все же спросил:

— Надеюсь, он не ранен?..

Доктор Афанасьев вытянул бандита из запущенного воспаления легких, что обеспечило ему в еще большей степени уважение и неприкосновенность в бандитской среде, его забавляло, когда карманники и форточники, завидев его на улице, издалека еще снимали свои кепки и подчеркнуто вежливо раскланивались с ним.

Со временем сын Елены Васильевны из Вани, Ванюши превратился в Ивана Ивановича, врача, работающего в Лермонтовском курорте. Появившаяся, когда пришло время, в квартире его жена Лидия Васильевна была под стать другим неординарным членам этого семейства. Тяжело было представить, что Иван женится на обычной женщине, что рождает детей и печет пироги. Так и произошло: он женился на балерине, которая ради него оставила сцену. Ее непригодность к реальной жизни даже превывшала непригодность Елены Васильевны, если брать ее за эталон. Однажды я увидела ее в кухне, где она беспомощно рассматривала полки и столы. "Что вы ищете, Лидия Васильевна?" — спросила я ее. "Седьмую часть..." — в растерянности ответила она. "Какую седьмую часть?" — "От мясорубки. Ты разве не знаешь, что она состоит из семи частей? Но я не знаю, как она выглядит. Помоги мне". Вся ее жизнь проходила в воспоминаниях о сцене и чтении классической английской литературы, языком которой она владела превосходно. Она была последовательницей Айседоры Дункан, любила показывать свои фотографии, которые отображали ее танцующей босиком и едва прикрытой некоей прозрачной тканью. Вообще, она была поклонницей здорового образа жизни, ходила по квартире раздетой до той степени, какую позволяли самые свободные взгляды на этот вопрос. А еще она любила посещать нудистский пляж, которого, конечно, в то время не было. Несколько раз она приглашала меня, и я с удивлением рассматривала нескольких женщин, которые собирались на диком пляже за 16-й станцией Большого Фонтана и загорали обнаженными,

опасаясь милиционеров и пограничников с собаками, которые время от времени пытались прекратить это безобразие.

В июле приема больных не было, семья Афанасьевых жила на даче, Людвиг уезжал проведать свою дочь, жившую в другом городе. А на сцене нашего несколько абсурдного театра появлялся следующий персонаж — Джульетта Федоровна Торчинелли. В ее функции входило присматривать за квартирой, поливать цветы и отвозить на дачу приходящую почту. Джульетта, по моим тогдашним понятиям, была стара, она носила рыжеватый парик, уложенный в замысловатую прическу, странные пестрые развевающиеся юбки и кофты. В квартире она пребывала не одна — с ней появлялась и большая высокая клетка с попугаем. Попугай орал мерзким требовательным голосом, его слышно было во всех уголках квартиры. Джульетту он рассматривал как свою прислугу. Она вела с ним привычные длинные разговоры, иногда соглашаясь, иногда дискутируя, чувствовалось, что он был единственным собеседником в ее одинокой жизни. Иногда, серьезно поссорившись с ним, она накидывала на клетку большой клетчатый платок, несмотря на еще дневное время, и попугай вынужден был замолкать.

У Джульетты, конечно, была своя история, которую она любила рассказывать: там фигурировал и жених, исчезнувший где-то в судорогах века, и что меня неизменно впечатляло, это ее воспоминания об отце-скульпторе, у которого была мастерская в городе Николаеве. Сказать по правде, я не очень верила в эту историю — глубоко провинциальный пыльный Николаев никак не ассоциировался в моем воображении со скульптором-итальянцем. Но прошло много лет, и однажды, сидя в Николаеве на окраинной улице, которая носила прозаическое название 12-я Слободская, я услышала от своей приятельницы, которая махнула рукой куда-то за окно в сторону поля и огородов, что там будут строить новый жилой массив и сносить остатки старого кладбища. "А там еще сохранились такие красивые скульптуры", — вздохнула она. Что-то екнуло в душе, и я упростила ее пойти на это кладбище. Среди безнадежно разбитых мраморных памятников кое-где сохранились еще ангелы, приосеняющие своими полусложенными крыльями старые могилы, и скорбящие девы, склоняющие головы в тени крестов. На двух памятниках мне удалось разглядеть едва заметную выбитую резцов строчку: "Мастерская Джакомо Торчинелли". И это было потрясением — значит, в самом деле существовали и наполеоновский солдат, и отец-скульптор, и я сейчас держу в руках ниточку времени.

Примерно раз в год появлялись в нашей квартире другие, эпизодические персонажи. Портниха, тогда еще было принято говорить "модистка", Глафира Петровна; она являлась вместе со своей всегда безмолвно-покорной придурковатой помощницей Таней, которая обметывала швы, делала петли, подшивала подол. Глафира была строга и требовательна, разговаривала только приказным голосом человека, знающего свою цену. Для нее нужно было освобождать большой стол, не шуметь, не мешать во время раскроя — она заметно для всех размышляла. Платье практически моделировала на фигуре, поэтому примерки, особенно первая, длились бесконечно долго, но платье выходило превосходное. Устав от Глафиры, Елена Васильевна уговаривала мою мать воспользоваться тем, что она уже в квартире, и сшить себе что-нибудь. Мать, как правило, соглашалась на уговоры, и Глафира шила ей одно-два платья, а тут уж перепало и мне — не выходя из образа неприступной мастерицы, она умела соорудить мне прелестное детское платьице, разительно отличающееся от того убожества, которое продавалось во всяких "детских мирах".

Посещала нашу квартиру и белошвейка Варвара Ивановна, существо тишайшее, незаметное. У нее была своя особенность: она не была приходежкой, на время работы она переселялась к нам в квартиру. Сначала неделю-другую работала у Афанасьевых, затем переходила к нам. Она что-то чинила, что-то штопала. К ее появлению покупали сколько-то метров льняного полотна, и она шила простыни, наволочки, скатерти, украшала их мережкой, вышивала монограммы, делала все то, на что у моей работающей матери не хватало времени.

Но самым колоритным был Наум Абрамович, портной, шивший верхнюю одежду, его появление было событием значительным и таинственным. Его швейную машинку, которая, как он говорил, "брала" толстые ткани — сукно, драп, ратин, — необходимо было перевезти вечером, в темноте, так как он до полной потери разума боялся финотдела, который жестоко наказывал тех, кто занимался частной деятельностью. Обычно для этого использовался доверенный извозчик, который доставлял Александра Дмитриевича на работу, позже брали такси. Из рук Наума Абрамовича выходили элегантные вещи, у него были вкус и чувство стиля. Работая, он говорил без умолку — истории времен до и после прихода советской власти, гражданской войны и его многочисленных родственников. Никто не мог долго выдерживать его рассказы, слушатели менялись, но Наум Абрамович, не обращая на это внимания, продолжал поток повествования. Иногда я была его единственным слушателем, но его нисколько не смущало мое

малолетство. Но самое интересное наступало, когда раздавался звонок в квартиру: он начинал метаться по комнате, будучи абсолютно уверенным, что финотдел его все-таки нашел, и пришли именно за ним, он давал богу клятвенные обещания, что больше никогда в жизни не возьмется за частный заказ, для оправдания своего пребывания в квартире хватал меня на руки, а когда с годами я стала уже слишком большой для такого представления, то сажал на колени и изображал из себя любящего дедушку.

Праздники, включая церковные, в квартире праздновали пышно, хотя обитатели ее религиозными не были. Во всяком случае, ни Афанасьевы, ни наша семья в церковь не ходили, но чисто внешнюю сторону истово соблюдали, готовясь к ним загодя. Каждый праздник имел для меня свой незабываемый запах. Новый год и Рождество оставались в памяти запахами хвои, мандаринов и каленых орехов. Сочельник — постной едой, кутьей и узваром. А за окнами силуэты детей, традиционно несущих в белых салфетках или полотенцах вечерю своим крестным.

Более всего волнений вызывала Пасха — удастся или не удастся тесто на куличи. Пекли на всю квартиру много — из восьми килограммов муки. Для того чтобы вымесить такое огромное количество теста, — а вымешивать требовалось не менее часа, — нужны были незаурядные силы. Для этого приглашался дворник Викентий. Он старательно мылся, ему выдавалась белая рубаха, колпак на голову, что хранились для него целый год — от Пасхи до Пасхи, — и он приступал к этому нелегкому труду. А потом куличи выпекались в плите, которая топилась дровами и углем, на что уходила целая ночь. Отваривалось несколько десятков яиц, и отец с увлечением, не меньшим, чем у нас с братом, красил их, несколько штук мы обязательно раскрашивали вручную, а вокруг запахи сдобного теста, ванили и пушистая нежность пасхальной вербы.

Троица всплывает влажным, слегка удушливым запахом аира и свежих ореховых листьев, которыми покрывали пол, и букетами белых лилий. И, наконец, праздник, что знаменовал окончание лета и скорое начало занятий в школе — Спас. Запах меда, ранних яблок, букеты — всегда из оранжевых цветов — чернобрицев и календулы, и обязательными маковыми головками в середине.

Однажды моя мать уехала в командировку на несколько дней, и мы остались с отцом. К нам несколько раз заходила Елена Васильевна и спрашивала, скоро ли она вернется. Когда же отец ушел на вокзал встречать мать, она вместе со мной несколько раз выходила в прихожую, заметно было, что она ее ждет с не меньшим нетерпением, чем я. Как только мать

вошла и глянула на Елену Васильевну, она быстро отдала мне в руки дорожную сумку и пальто и спросила:

— Что случилось?

— Зайдите к нам, сейчас же, я вас очень ждала, Александр Дмитриевич болен... Я делала, что могла...

— А где Иван?

— Он с Лидой в Сочи, отдыхают.

Мать увидела невероятно изменившееся серо-землистое лицо Александра Дмитриевича и поняла, что произошла что-то, как видно, уже непоправимое.

— Что с вами, Александр Дмитриевич?

— У меня непроходимость, заворот кишок, по-простому... Мне нужен хирург. Позовите, пожалуйста, профессора Целариуса.... Вы с ним знакомы... Я ему доверяю... — прошептал Афанасьев.

Мать, не заходя в комнату, снова надела пальто и сказала мне:

— Бери пальто, пойдем вместе, поговорим по дороге...

Было уже темно, мы быстро шли, почти бежали по улицам; мать мельком спросила, как у меня дела в школе, и замолчала — мысли ее были явно заняты другим.

Целариус собрался за несколько минут, и мы так же торопливо отправились в обратный путь. Мать и хирург быстро обменивались короткими фразами:

— Как думаете, сколько дней он болеет?

— Думаю, уже дня три...

— Поздно, слишком поздно... Обычный страх терапевта перед хирургическим вмешательством. Боюсь, что мы его теряем...

Целариус и мать, вместе осмотрев Александра Дмитриевича, тут же вызвали "скорую помощь" и отправили его в клинику. Рано утром собрался консилиум, все понимали, что время упущено, что спасти его почти невозможно, а если и был маленький шанс, то никто из коллег не решился взять на себя ответственность и рискнуть. На следующий день Александра Дмитриевича не стало.

Елена Васильевна, как обычно, с утра причесанная, в туфлях на каблучках и шелковом платье, встречала новый день. Люди, которые ее окружали, постепенно и незаметно исчезли. Сидя в кресле, она часами рассеянно обводила глазами комнату, ставшую для нее безнадежно пустой, заходила в кабинет Александра Дмитриевича, содержащийся в образцовом порядке, который теперь, в отсутствие хозяина, казался холодной гробницей, бес-

цельно переставляла на письменном столе какие-то мелочи и так же, будто не отдавая себе отчета, выходила из него, — и все это она проделывала молча. Рядом были сын и невестка, в конце концов, мы, родители и я с братом, которые прожили рядом тридцать долгих лет. Но было ясно, что без Александра Дмитриевича ничто не удерживает Елену Васильевну, — он был смыслом ее жизни, им она дышала, для него она жила. Однажды через много лет я отчетливо вспомнила ее, когда моя свекровь сказала: "Каждый ответственен за свой склероз. Когда проходит очарование молодости и умелый опыт зрелых лет, человек предстает в оголенном виде, именно таким, каким он является по своей натуре". И в эти последние годы своей жизни, когда слетела шелуха повседневности, Елена Васильевна проявилась в своей сути. Когда к ней приходила почтальон, приносящая каждый месяц ее немалую по тем временам пенсию, которую она получала как вдова профессора, она делила пачку купюр на две части и говорила:

— Не обижайтесь на меня, возьмите деньги, у вас же жалование небольшое, а дети, наверное, хотят чего-нибудь вкусного...

В другой раз, жалея ту же почтальоншу, в холодный день она вынула из шкафа норковый палантин и накинула его на темно-синий форменный бушлат, которые носили тогда работники почты. Нужно сказать, что наша почтальон Нюра неизменно приходила вечером и возвращала Ивану Ивановичу все, что раздавала его мать. Умерла Елена Васильевна как-то незаметно, сидя в своем кресле с чашкой чая, который ей подала Анна Павловна — одна не забывшая ее и забегавшая к ней каждый день, как и прежде.

А вскоре из нашей квартиры Поповы переехали в другую — три большие комнаты для них стали обременительными, а въехали с опозданием на тридцать лет три семьи. Исчезли из холла стулья, обитые бархатом, массивная дубовая вешалка, зеркало в резной черной раме. Квартира превратилась в обычную коммуналку с кучей хлама у каждой двери. В пик ее населенности в ней проживало двадцать два человека, из них семеро детей — и все мальчишки разного возраста, три собаки, кошка и мотоцикл "Ява" в прихожей.

Однажды, зайдя с улицы в парадное, я увидела, как двое мужиков окрашивают темно-синей краской стены парадной лестницы, где еще чудом сохранились не попорченные ни временем, ни малолетними варварами — как видно, даже у них не поднимались руки — нежно-розовые медалыоны с букетами лилий.

— Что вы делаете, зачем уничтожаете эту красоту? — закричала я.

И услышала хамский ответ и злорадное ржание:

— А нам по барабану, мы получаем за квадратный метр окрашенной площади...

На другой день обрушили и венчавший угловую часть фасада круг с распростертым в нем орлом, и существование оставшихся башенок было уже ничем не мотивированным — они торчали, как обломки зубов во рту старика.

Исчезли люди, а с их исчезновением умер и дом. Время медленно стерло всех и все... Время... Вначале мы мчимся сквозь него мимо сегодняшнего дня — мы еще успеем вернуться, остановиться, все исправить. Ведь впереди нас ждет осознание цели и смысла нашего бытия, нечто влекущее и загадочное. И только когда рассеивается иллюзия несуществующего будущего, и мы останавливаемся на самом краю сегодня, мы делаем робкие шаги назад, боясь упасть в раскрывшуюся перед нами бездну, только теперь понимая, что все настоящее и значительное уже произошло. И тогда мы идем осторожно назад, в прошлое, в поисках самих себя. И в этих осколках прошлого я нашла забытый, никому сегодня не ведомый мир — людей причудливых, оригинальных, позволявших себе быть самими собой вопреки так часто окружавшей их серости и ординарности. Никто из них не оставил после себя детей, они живут только в моей памяти, нет на земле ни одного человека, кроме меня, кто их помнит, еще чуть-чуть — и память о них исчезнет, как будто их никогда и не было на земле. И вспомнив отчаянный вопль Марины Цветаевой: "Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись!" — я попыталась подарить им вторую, прозрачную бумажную жизнь.

Дюссельдорф

